***София Шабанова***

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики» — Пермь

студентка 2 курса магистратуры

**«А теперь ни папы, ни Сталина»: смерть в дневниках советских детей и подростков 1940-50-х гг.[[1]](#footnote-1)**

**Аннотация:** Данная статья посвящена исследованию мортальных сюжетов в дневниках советских детей и подростков 1940-50-х годов (авторам на момент ведения дневников от 6 до 17 лет). На примере дневниковых записей, посвященных смерти, в статье рассматриваются особенности отношения к смерти у советских детей. В фокусе внимания фигуры значимых взрослых, о смерти которых пишут дети, феномен смерти вождя и реакции на нее, осмысление смерти в условиях войны и в послевоенное время, описание специфических практик, связанных со смертью. Анализ дискурса дневниковых записей советских школьников подкреплен сравнением с детской литературой, советской прессой, школьными сочинениями и другими источниками. Таким образом сделана попытка оценить степень влияния официальной агиографии на личное восприятие смерти у советских школьников.

**Ключевые слова:** советское детство, советская танатология, детские дневники, школьные сочинения, блокадные дневники.

Проблематика смерти стала частью исторических исследований в 1977 году, когда вышло первое издание работы Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти». Однако в контексте исследований, посвященных советскому периоду, темам, связанным со смертью, посвящено лишь несколько работ: например, Нина Тумаркин в монографии «Ленин жив» писала об особенностях культа вождя и ритуалах, связанных со смертью Ленина, несколько исследователей (Галина Орлова, Наталья Лебина, Ольга Бойцова) писали о советских практиках, связанных с похоронами, Анна Котомина, Светлана Малышева исследовали образы смерти в советской массовой культуре, а Шейла Фитцпатрик, Бартель и другие посвятили работы особенностям похоронной инфраструктуры.

Авторы, которые обращались к теме смерти в СССР, говорят о том, что образ смерти в советской культуре имел дихотомическую структуру: с одной стороны, смерть героев была растиражирована и вынесена в публичное пространство, а с другой — смерть простых граждан была вытеснена в приватное поле[[2]](#footnote-2).

С помощью особых героических и жертвенных образов, адаптированных для детей, власть стремилась с детства сформировать у советских людей определенные паттерны, связанные с «правильной» смертью и реакцией на смерть. Это исследование — попытка понять, как советские дети и подростки осмысляли смерть, и насколько эталонные образы, которые транслировались официальной советской пропагандой, находили отражение в жизненном мире детей и подростков. Основным источником статьи выступают личные дневники советских детей и подростков (авторам от от 6 до 17 лет) 1940-1950-х годов. Меня интересует, какие сюжеты, связанные со смертью, фигурируют в дневниках, о чем авторы дневников могут умалчивать, насколько яркими предстают впечатления от чьей-то смерти, чем отличаются записи о смерти авторов-свидетелей войны и блокады и тех, кто не застал войну или начал вести дневник после 1945 года.

Возвращаясь к роли дискурса о смерти в СССР, важно сказать о том, что советская власть с помощью литературы, кино, плакатов и статей в прессе транслировала героические образы, которые советский человек должен был усвоить прежде всего за счет особого ритуала героической гибели героя. Добренко пишет о том, что соцреализм, утвердившийся в сталинскую эпоху, в части создания героических образов опирается на мотивы насилия [[3]](#footnote-3). Однако в некоторых случаях это насилие старались закрепить. К. Кларк в своем исследовании пишет, что отведение смерти ключевой роли в советских романах объясняется тем, что «основополагающая фабула советского романа восходит к более древним и традиционным структурам» и включает прохождение героем обряда инициации. Кульминационный момент советского романа: «герой теряет свою индивидуальность, ‹…› он умирает как индивидуальность и возрождается как член коллектива»[[4]](#footnote-4). Один из самых ярких образов, созданных через такой обряд инициации, — образ Чапаева. Он создавался и закрепился в массовой культуре в том числе за счет соблюдения условия смерти от пули врага.

Кроме «взрослых» героев, в советской массовой культуре фигурировали пионеры-герои, чьи образы создавали во многом для демонстрации эталонных смертей и отношения к смерти. В детской литературе и фильмах демонстрировались зверские убийства матерей с маленькими детьми и пытки, которыми сопровождались убийства героев-подростков. В мифе о Павлике Морозове, по словам исследовательницы Катрионы Келли, прослеживались мотивы «кровавого навета»: так, в статьях говорится о том, что кулакам нравилось смотреть на кровь мальчиков, Фёдору якобы специально выпустили много крови, а тела братьев были политы клюквенным соком, который также ассоциируется с кровью[[5]](#footnote-5). Детям рассказывали о том, что есть идеологически правильная смерть, и выглядит она примерно так же, как смерть героев «Молодой Гвардии». В эталонных образах ребенок представал жертвой, которая с начала повествования как бы готовилась к тому, чтобы быть убитой. Такой дискурс был направлен на то, чтобы исключить чувство страха и подменить его жертвенным энтузиазмом. Кроме того, в советской идеологии 1940-50-х существовал ряд ритуалов, связанных с правильным принятием и проживанием смерти других. Эти ритуалы (такие, как речи на похоронах, объявление по радио, общие собрания в школах, очереди из желающих проститься граждан) сопровождали смерть и похороны Ленина и других политических фигур, создавались в рамках политики памяти во время и после войны. При этом дискурс, связанный со смертью простых людей и ритуалами, которые её сопровождали, как будто находился за рамками идеологического поля: так, в советских газетах не принято было говорить о смертях на производстве, а память о погибших на войне сохраняли в виде братских могил и обезличенных памятников, как бы стирая отдельные истории погибших[[6]](#footnote-6).

Основным источником этого исследования являются дневники советских детей и подростков. Опираясь на методологическую концепцию Мишеля Фуко, я хочу выяснить, какой язык школьники использовали для осмысления смерти, и как официальный дискурс проникал о смерти проникал в личные переживания советских школьников. В первую очередь интерес представляет то, с чьей смертью сталкивались советские дети и подростки и о чьей смерти они писали: возможно, именно эти люди выступали в качестве «значимых других»[[7]](#footnote-7). Учитывая, что смерть — это не совсем личное, а скорее социальное явление, информация о том, чью смерть дети отражали в своих дневниках, позволяет определить границы их жизненного мира и особенности социальной реальности, в которой находились дети.

Дневниковые записи, которые я использую в этом исследовании, принадлежат советским детям и подросткам (от 6 до 17 лет). Всего в исследовании задействовано 15 дневников, авторами которых были дети с разным жизненным опытом: среди них есть и сельские, и городские школьники, дети-свидетели войны и те, кто вступил в осознанный возраст и начал вести дневник уже после окончания войны.

В записях, с которыми я работала, упоминаются смерти близких родственников (среди которых мать, бабушка, тётя, реже — отец), школьных друзей и друзей семьи, близких родственников друзей. Кроме того, встречаются записи, посвященные смерти Сталина, немцам и «полицаям», которые находятся в городе во время войны. Школьники так же иногда пишут о невинно-убиенных жертвах и пионерах-героях.

Семнадцатилетняя школьница-свидетельница блокады Альбина Крюкелис 22 июля 1943 года пишет о смерти мамы: «Сегодня самый несчастный день в моей жизни, день похорон моей мамочки. Умерла она 19.7.43 днем полвторого, в понедельник. Я последний раз была 18. Сначала сходила на рынок купила ей ягод, черники и клюквы. Просидела я у мамочки целый день, опоздала на обед и не поехала в театр с Лидой Лавреньевой. Я все грела маме руки и ноги, они у нее застывали. Температура была у нее 37,1. Перед уходом она меня благословила, и заплакала. В тот день я видела ее в последний раз. В понедельник я к ней не ездила. А во вторник достала молока, приезжаю в больницу, там мне нянечка говорит, что мама умерла»[[8]](#footnote-8).

Девочка детально описывает последнюю встречу с мамой, вспоминая её живую, как бы отказываясь верить в то, что она умерла. Альбина не говорит подробно о причине смерти матери, упоминая лишь о болезни. Далее девочка описывает похороны, умалчивая об эмоциях от увиденного и заменяя их описанием бюрократических процедур: «Наутро 21-го пошла на работу подала Полынскому заявление об отпуске меня на 3 дня. Он обещал мне машину и гроб. Свое обещание он сдержал, мне помогли похоронить Ионан, Виктор и Люба Черникова. Когда Ионан с В. уехали, мы остались расплачиваться с могильщиком, Люба позвала священника, и он отпел маму, ведь перед смертью она стала верующей»[[9]](#footnote-9).

Говоря о своем горе, Альбина использует только одну устоявшуюся ритуализованную фразу из газетных некрологов (кроме фразы «её смерть явилась для меня большим ударом»). Можно предположить, что слова, которые она употребляет, могли быть восприняты девочкой из дореволюционных повестей и романов для девочек: «Я даже не знаю, что со мной тогда и было», «Всю ночь я не спала», «я не в силах писать, слезы сами бегут у меня из глаз», «Несколько дней после я ходила как загипнотизированная, точно во сне. Ни разу до этого у меня не было такого состояния». Например, в романе Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки» об осиротевшей школьнице, которым, по словам исследователей литературы, зачитывались советские школьницы[[10]](#footnote-10), главная героиня похожим образом описывает свои эмоции от потери родителей: «слёзы сами навернулись на глаза», «вс. Дорогу я провела, как во сне: напрасно меня пытались развеселить», «не знаю, что бы сталось со мною»[[11]](#footnote-11).

Когда Альбина пишет о похоронах, она воспроизводит позицию властного дискурса о правильном ритуале погребения, но одновременно с этим критикует обряд захоронения в братской могиле, который считался нормой военного времени: «Но все же если б даже и не помог мне завод, то все равно сжигать бы я ее в печи не позволила, я приложила бы все усилия, сидела бы без хлеба, но ее бы похоронила, как следует. Довольно того, что папа лежит в общей могиле». Кроме того, девочка спокойно принимает решение матери о принятии христианства перед смертью.

В своем дневнике шестнадцатилетний Георгий Эфрон 5 сентября 1941 года (запись посвящена самоубийству его матери — поэтессы М.Цветаевой), пишет, что «за эти 5 дней произошли события, потрясшие и перевернувшие всю мою жизнь[[12]](#footnote-12)». Далее юноша больше не выражает эмоции по поводу смерти матери, а цитирует ее предсмертные письма и описывает процесс организации похорон. Георгий рассказывает о бюрократических процедурах в деталях. Он упоминает, что мать похоронили через день после самоубийства, долго ждали лошадей и гроб, похоронили на деньги горсовета; вечером пришли милиционер и доктор, которые сначала забрали письма, потому что в них содержится причина самоубийства, однако Георгий настоял, и письма отдали. Такое пристальное внимание к деталям одновременно может быть связано с несколькими факторами: во-первых, юноша впервые сталкивается с таким опытом организации похорон близкого человека и решения бюрократических проблем, во-вторых, он понимает, что его мать —  публичная фигура, и записи о её смерти не совсем личные, они могут быть написаны с мыслью о дальнейшем публичном использовании, и поэтому автор не описывает эмоциональные переживания.

В обоих случаях авторы дневников стараются в деталях запомнить день и обстоятельства смерти близких и похороны. Сама смерть и похороны разделяются ими: смерть описывается как безусловное горе, а когда речь заходит о похоронах, акцент с впечатлений от увиденного смещается на рассказ о бюрократических процедурах. Это свидетельствует о том, что подростки разделяют факт смерти и похорон и по-разному осмысляют эти события.

Ещё один яркий пример, связанный с опытом проживания смерти близких, — тринадцатилетняя Татьяна Вассоевич, свидетельница блокады, которая оставалась в городе с мамой Ксенией Платоновной и 15-летним братом Володей. Володя умер в январе 1942 года. Девочка сама занималась похоронами брата, потому что мама была уже слишком слаба, — её не стало спустя месяц. Прежде чем Таня смогла организовать вторые похороны, тело её мамы 9 дней пролежало в квартире. В дневниковой записи от 27 марта 1942 года девочка написала: «Я договорилась с Худяковым, который вырыл могилу Вове, чтобы он рядом вырыл могилу папе Иры Разумовской, и он сделал в правую сторону нишу, где поставили гроб Александра Николаевича», «Я иду в детскую больницу на 3-й линии. Взять свидетельство о смерти. Я в Вовиной шубе. (...) Гл. врач находит картотеку Владимира Вассоевича и крупными буквами поперёк выводит УМЕР», «люди, увидев гробы, спрашивают, где заказали такие хорошие»[[13]](#footnote-13).

Четырнадцатилетняя Галина Зимницкая 8 февраля 1942 года описала в своем дневнике поход матери на кладбище, чтобы найти того, кто раскопает могилу: «Но работник упрямо, изо всех сил тюкал лопатой — уж очень ему хотелось заработать хлеба. Наконец, он изнемог и, сев на сугроб, виновато посмотрел на маму. Она пожалела его и дала кусочек хлеба, а сама пошла искать другого работника. Второй мужичек оказался сильнее. Быстро сколол ломом смерзшийся снег, а рыхлая земля с песком уже сама сыпалась ему в лопату»[[14]](#footnote-14). Несмотря на то, что поход мамы на кладбище был связан со смертью близкого человека, эта попытка найти могильщика — единственная тема, которую Галина затронула в своем дневнике в этот день.

В записях Тани Вассоевич также есть любопытная деталь, которая может рассказать о том, как дети воспринимали скорбь. Таня написала «На похоронах были тетя Люся, Гросс-мама, я и Толя Таквелин — Вовин лучший друг и одноклассник. Толя плакал — это растрогало меня больше всего. Так вот, кто любил Вову». Мы видим, что настоящая скорбь и любовь у подростка ассоциировалась со слезами, но в контексте блокады слёзы на похоронах стали более редким событием, и факт оплакивания отмечался отдельно. Автор работы «Блокадная этика», Сергей Яров, пишет, что во время блокады из-за острого недостатка питания как у взрослых, так и у детей, развивались не только болезни, но и апатия: «Секретарь Дзержинского РК ВКП(б) З.В. Виноградова, обходившая «выморочные» квартиры в поисках детей, писала о том, как была поражена их безразличием: «Лежит человек на кровати, с ним же рядом ему близкий человек мертвый, и у него полное отупение»[[15]](#footnote-15).

В довоенное время (23 марта 1940 года) пятнадцатилетняя школьница Розалия Серднак писала о том, что на похоронах бабушки она не пошла на кладбище, потому что родители сказали, что она слишком мала для таких впечатлений. Девочка отправилась в школу, чтобы там отрицательные эмоции немного рассеялись[[16]](#footnote-16).

В войну организация похорон подростками как будто выступает распространенным явлением. Такой феномен связан с обстоятельствами, в которых оказались дети и подростки. Лишенные опеки, они были вынуждены действовать, как маленькие взрослые и брать на себя ответственность. Смена довоенной модели детства со счастливого времени, которое необходимо продлить, на позицию «маленький гражданин» происходила именно под воздействием этих событий, и смерть становится чем-то ожидаемым, впечатления даже от смерти близких немного притупляются, потому что она являлась частью военной повседневности.

Дети, которые во время войны видят окружающую жестокость, про обычную, «будничную» смерть пишут реже. В их дневниках могут фигурировать зверские убийства и пытки, которые связаны с действиями немцев и полицаев, а говорят они о таких смертях часто языком советских газет. Так, в одной из записей за 1944 год своем дневнике тринадцатилетний свидетель оккупации Леонид Ржединский описывает действия немцев и смерти, которые происходят вокруг. Мальчик: «Пьют самогон, убивают деревенских собак. Убили в деревне девушку-партизанку, привели с собой и расстреляли разрывными пулями среди улицы», «умерла от тифа старая бабка, еще болеют 8 человек. Когда копали ямку на кладбище, мужчин обстреляли немцы, чуть не забросали гранатами», «за побег заключенных расстреливают полицейских, насчитали 6 трупов полицаев в деревне», «немцы нашли одно убежище в окопе – 7 девушек и 1 парень. Отравили газом и закопали в братской могиле»[[17]](#footnote-17).

Из рассказа Леонида и девочек, чьи дневники упоминались ранее, можно сделать вывод о том, что в условиях войны и в ситуациях, связанных со смертью, они принимали позицию одновременно участника и очевидца. Кроме того, в записях мальчика отчетливо видны газетные формулировки: эпизод с отравлением газом может отсылать к Холокосту и описанию концентрационных лагерей в советских газетах, а убийство девушки-партизанки разрывными пулями очень похоже на убийство Зои Космодемьянской, чья история также активно освещалась в прессе. Однако такие же случаи публичных жестоких убийств, совершенных немцами во время оккупации, дети описывали в своих школьных сочинениях[[18]](#footnote-18).

В послевоенное время ситуация отличается: дети и подростки пишут о смерти реже, потому что реже с ней сталкиваются, но уделяют больше внимания выражению переживаний не только о смерти, но и о похоронах. Кроме того, школьники больше рассуждают о природе смерти, как бы «примеряют» её на себя. Чаще всего они сталкиваются со смертью от болезней близких родственников и школьных друзей и со смертью политических деятелей. Язык таких записей в дневниках детей и подростков напоминает язык школьного сочинения (риторические вопросы в тексте, аргументация, восклицательные предложения) и некоторых произведений детской литературы.

Шестнадцатилетняя Клара Гайнутдинова 17 декабря 1952 года писала в дневнике о смерти тёти, которая умерла от рака в 33 года: «Я понимаю; вот умер какой-то незнакомый чужой человек, но тётя Валя — не могу представить себе. Не быть. Что ж это значит? Вычеркнут из мира живых. Да, теперь она уже не «тётя Валя», а разлагающийся труп. Боже мой, как страшно дико!! Ну, что же теперь делать? Какая-то свинцовая тяжесть навалилась»[[19]](#footnote-19). 23 апреля 1952 года Клара написала о смерти одноклассницы: «2 месяца прошло, как Алки Кашиной нет. Только или уже 2 месяца! Я до сих пор не могу к этому привыкнуть, никак не могу. Да и вообще человек, наверное, никогда не привыкнет к смерти, потому что его «Я» и «умер» никак не связывается»[[20]](#footnote-20).

Переживания о смерти близких людей Клара переводит в плоскость рассуждений о собственной смерти — «Тогда все: заботы, тревоги, радости, печали — все кажется никчемным, совершенно ненужным. Зачем я учусь, когда я все равно умру? Зачем мне надо получать пятерки, когда меня все равно закопают в землю? Зачем я стараюсь понравиться, смеюсь, хочу, чтобы мне кто-то нравился, когда я все равно буду гнить, меня будут жрать какие-то постылые скользкие черви?».

Интересно обратить внимание на отдельные формулировки, которые использует девочка. Её слова наполнены злостью на мир, она остро ощущает несправедливость, и это прослеживается в том, как она пишет о смерти близких людей и о собственной: «буду гнить», «постылые скользкие черви», «разлагающийся труп», «вычеркнуть из мира живых». Эта категоричная манера, похожая на выражения Леонида Ржединского, дневник которого уже упоминался: он писал «надеюсь, немцы скоро сдохнут», демонстрируя свою злость и чувство несправедливости. В данном случае это формулировки, скорее всего, заимствованные из литературы. В советских книгах, где представлена смерть пионеров-героев, также большое внимание уделяется образу врага, и немцы (их смерть и то, как они относятся к смерти других) описываются в схожей манере. Например, в поэме «Зоя» от немцев «духом мертвечины разит», а в «Молодой Гвардии» в похожих словах описывается, как немцы казнят партизан. Такое деромантизированное и натуралистичное описание смерти может служить паттерном того, что смерть уже не является частью повседневности советского школьника, как это было в военное время, и столкновение со смертью — это шок.

Упомянутые до этого сюжеты были связаны со смертью близких родственников или друзей авторов дневников. Как же дети реагировали на смерть, которая не касалась их напрямую? Существует несколько сюжетов, связанных с этим вопросом: во-первых, смерть пионеров-героев, которая транслировалась в массовой культуре и литературе, а во-вторых — смерть Сталина. И если пионеры-герои в дневниках упоминаются очень мало, то о смерти Сталина школьники писали больше.

Пятнадцатилетний Сергей Орлов в своем дневнике за 18 февраля и 8 марта 1942 года упоминает Зою Космодемьянскую и Лизу Чайкину. В записях он называет их бессмертными и отважными, поборовшими смерть, но всё же говорит о том, что они погибли от рук немцев[[21]](#footnote-21). Четырнадцатилетняя Марина Добрынина 6 марта 1943 года написала в своем дневнике о плохом положении (едим только суп, хлеба не хватает) и, вспоминая предвоенные годы, добавила: «Проклятые фашисты, сколько из-за них погибло людей на фронте и мирных граждан. Недавно погибла Герой Советского Союза Марина Раскова. Мне очень жаль ее. Много жертв. Но мы расплатимся с фашистами, за замученных мирных граждан, детей, стариков, женщин. Мне очень нравятся партизаны, которые не дают немцам покоя в тылу. При одном слове «Партизаны» немцы дрожат. А разве забыть партизанку-комсомолку Зою Космодемьянскую (Таня) которую фашисты долго пытали и зверски, но ничего от нее не добились. Даже тогда, когда она была на висилицы, она нашла силы крикнуть «Мы победим! Смерть немецким окупантам!». А Лиза Чайкина, а Александр Чакалин, да разве мало у нас героев? Скоро и я буду большая. Через три месяца мне — 15 лет»[[22]](#footnote-22). В таких записях мы видим нарратив школьных сочинений и советской детской периодики: девочка не только вспоминает о подвигах пионерок, но и ставит себя в позицию потенциального мстителя, который обещает расплатиться с фашистами за невинных жертв. Она также воспроизводит идеологический конструкт, повторяя, что дети и подростки — в первую очередь жертвы, и только поэтому герои. Вспоминая о своем возрасте, девочка как бы примеряет на себя роль героини.

Елена Шварц (12 февраля 1957 года девочка написала в дневнике, что засыпает с мыслями о героях Отечественной войны, особенно о Зое Космодемьянской и о Саше Матросове[[23]](#footnote-23)) и уже упомянутые школьники — одни из тех, кто включает идеологические эталонные образы героической и жертвенной смерти в личные рассуждения и в пространство своего жизненного мира, используя привычную форму школьных сочинений, которая помогает им объяснить что-то непривычное и страшное.

Второй сюжет, связанный с идеологическими сюжетами и смертью, присутствующий в дневниках советских детей и подростков — это смерть Сталина. Подростки пишут о смерти Сталина не только в день его смерти, но и в дни накануне и после, иногда оставляя в дневниках несколько записей подряд на одну тему. Такое внимание, конечно, обусловлено тем, что взрослые вокруг реагируют эмоционально, в школе проходят общие собрания, и подростки не могут это не заметить.

В этих записях можно заметить характерные формулировки, которые описывают непонимание, волнение и страх перед будущим: «все волнуются», «грустные события», «чтобы отвлечься, стараемся сохранять веселое настроение», «все очень расстроились, некоторые плакали», «все губы себе искусали», «говорят, теперь точно будет война», «наверное, весь этот год будет нехорошим», «я не понимаю, даже не представляю, что нет Сталина!». При этом большинство этих слов описывают не состояние детей, а настроения вокруг: так говорят родители, такую атмосферу создают учителя и одноклассники. В то же время в записях, посвященных смерти Сталина, есть и другая закономерность: подростки пишут о его болезни, а затем и смерти довольно подробно, но рассказ переключается с описания чувств и событий вокруг смерти Сталина на повседневные дела и личные заботы, которые оказываются важнее.

Так, Олег Амитров (16 лет) 5 марта 1953 года написал в своем дневнике: «Утром и днём по радио говорили, что Сталину хуже. А в школе у нас усиливаются репрессии: Драйчика и Гарамова перевели к класс «А», а нам взамен их дали Масленникова и Дюкалова. Жалко»[[24]](#footnote-24).

Пятнадцатилетняя Наталья Чуренкова в день смерти Сталина пишет о том, что некоторые девочки в классе намеренно плачут больше, чем другие, чтобы на них обратили внимание, а когда по школьному радиоузлу говорили о последних днях жизни Сталина, она не слушала, потому что переписывала контрольную работу по алгебре (добавляет, что несмотря на все просьбы, учительница дала контрольную). Наталья также отказывается ехать в Колонный зал, потому что рано утром состоится линейка, на которой она должна присутствовать. В конце девочка добавляет: «Я думаю сходить когда он будет лежать в мавзолее. Интересно, будут строить новый мавзолей, или его в этом, вместе с товарищем Лениным положат».[[25]](#footnote-25) Получается, что, несмотря на идеологически верные формулировки о грусти и страхе от известия о смерти Сталина, это событие не оказывает большого влияния на повседневность школьников, а у школьников есть уже оформленный ритуал, связанный со смертью главы государства (они уверены и ожидают, что со Сталиным поступят так же, как с Лениным).

Язык, который подростки используют в записях о смерти близких и даже друзей семьи, всё же сильно отличаются от языка записей, посвященных смерти Сталина. Школьники практически не употребляют в связи со смертью Сталина категоричные слова о том, что это худший день в их жизни или просто событие, которое сильно повлияет лично на них. Даже Клара Гайнутдинова, чей дневник уже приводился в качестве примера, хоть и сравнивает значение смерти Сталина для себя лично со смертью подруги и отца и говорит о том, что не может поверить в смерть вождя: «Ведь если произносишь: «Советский Союз», подразумеваешь — Сталин. Я почему-то была уверена, что Сталин бессмертен. Мы выросли при нем, нам казалось, что он есть и будет всегда. Едва ли не первое слово, которое мы произносили, было: «Сталин». И вот его нет…В такие минуты я сжимала голову руками и шептала или «папа», или «товарищ Сталин». А теперь…ни папы, ни Сталина. Вот сейчас мне сильно хочется плакать»[[26]](#footnote-26), в этой же записи она быстро переключается на личные проблемы: недопонимания с матерью, приближающиеся экзамены, смерть подруги и отца, которые были частью её жизни. Упоминание смерти Сталина становится скорее ритуалом, который подростки не могут пропустить, потому что взрослые придают ему большое значение. При этом для подростков, которые обычно не включали в свои дневниковые записи политические новости (скорее всего, они просто никак не влияли на их жизнь), этот ритуал непривычен, поэтому они стремятся перейти к написанию записей о том, что их действительно волновало.

Подведем итоги. В дневниках советских детей и подростков 1940-150-х гг. мы видим различные практики осмысления смерти: фиксирование травмирующих (смерть близких родственников и друзей, наблюдение жестоких убийств на войне) и повседневности (похоронные практики в блокадном Ленинграде), соблюдение ритуала (упоминание смерти Сталина) и рассуждения о смерти как экзистенциальном феномене. При этом школьники используют разный язык: от фраз, запомнившихся из женских романов, до формулировок из школьных сочинений и газет. Таким образом они пытаются объяснить свой новый опыт и найти для него подходящие слова, и параллельно осваивают идеологические конструкты, связанные со смертью. То, как школьники пишут о смерти в войну, отличается от послевоенного времени. Они сталкиваются с экстремальными условиями, видят вокруг много смертей и берут на себя ответственность за похороны близких. Их повествование о смерти более сдержанное, чем у детей и подростков послевоенного времени, которые острее воспринимают смерти близких и рассуждают о собственной смерти в связи с такими событиями. Мы также наблюдаем, как дети воспринимаю язык официального дискурса и транслируют его в записях, посвященных смерти Сталина или пионеров-героев: у них есть четко усвоенные формулы (такие, как «жертва = герой» и «где Ленин, там и Сталин»), однако в записях, посвященных смерти Сталина, дети описывают скорее реакцию окружающих взрослых, а не собственную, и быстро переключаются на проблемы, которые их волнуют больше.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Дневник Альбины Крюкелис // Прожито. URL: https://www.prozhito.org/person/1920
2. Дневник Галины Зимницкой // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/328
3. Дневник Георгия Эфрона // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/203
4. Дневник Елены Шварц // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/394
5. Дневник Клары Гайнутдиновой // Прожито. URl: https://prozhito.org/person/2584
6. Дневник Клары Гайнутдиновой // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/2584
7. Дневник Леонида Ржединского // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/2760
8. Дневник Марины Добрыниной // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/954
9. Дневник Натальи Чуренковой // Прожито URL: https://prozhito.org/person/1881
10. Дневник Олега Амитрова // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/3898
11. Дневник Розалии Серднак // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/2322
12. Дневник Сергея Орлова // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/963
13. Дневник Татьяны Вассоевич // Прожито. URL: https://prozhito.org/person/627
14. Чарская Лидия Алексеевна. Записки маленькой гимназистки. — Энас-Книга, 2016 г. 224 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Девятых С. Ю. Дети и подростки Страны Советов в годы Великой Отечественной войны: историко-публицистический очерк. – Государственное учреждение образования Республиканский институт высшей школы, 2015. 73 с.
2. Добренко Е. Политэкономия соцреализма. – Новое лит. обозрение, 2007.
3. Келли К. Товарищ Павлик. – Новое лит. обозрение, 2009.
4. Кларк 2002 — Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург, 2002. С 146.
5. Кон И. С. Психология юношеского возраста. М., 1979.
6. Малышева С. Красный Танатос: некросимволизм советской культуры //Археология русской смерти. – 2016. – №. 2. С 25-46
7. Трофимова Е. И. Женская литература и книгоиздание в современной России // Общественные науки и современность. – 1998. – №. 5. – С. 147-156.
8. Яров С. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. СПБ, 2011, 596 с.

1. Публикация подготовлена в ходе проведения исследования по проекту № 19-04-013\_ в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2019 и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100". [↑](#footnote-ref-1)
2. Малышева С. Красный Танатос: некросимволизм советской культуры //Археология русской смерти. – 2016. – №. 2. С 26 [↑](#footnote-ref-2)
3. Добренко Е. Политэкономия соцреализма. – Новое лит. обозрение, 2007. С 209 [↑](#footnote-ref-3)
4. Кларк 2002 — Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург, 2002. С 146 [↑](#footnote-ref-4)
5. Келли К. Товарищ Павлик. – Новое лит. обозрение, 2009. С 142 [↑](#footnote-ref-5)
6. Малышева С. Красный Танатос: некросимволизм советской культуры //Археология русской смерти. – 2016. – №. 2. С 25 [↑](#footnote-ref-6)
7. Кон И. С. Психология юношеского возраста. М., 1979. С 21 [↑](#footnote-ref-7)
8. Дневник Альбины Крюкелис // Запись от 22.07.1943. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/375221 [↑](#footnote-ref-8)
9. Дневник Альбина Крюкелис // Запись от 22.07.1943. Прожито. URL: https.://prozhito.org/note/375221 [↑](#footnote-ref-9)
10. Трофимова Е. И. Женская литература и книгоиздание в современной России //Общественные науки и современность. – 1998. – №. 5. – С. 147-156. С 151 [↑](#footnote-ref-10)
11. Чарская Лидия Алексеевна. Записки маленькой гимназистки. — Энас-Книга, 2016 г. С 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Дневник Георгия Эфрона // Запись от 31.08.1941 – 6.10.1941. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/48907 [↑](#footnote-ref-12)
13. Дневник Татьяны Вассоевич // Запись от 27.03.1942. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/440436 [↑](#footnote-ref-13)
14. Дневник Галины Зимницкой // Запись от 8.02.1942. Прожито. URL: [↑](#footnote-ref-14)
15. Яров С. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. СПБ, 2011, С 8 [↑](#footnote-ref-15)
16. Дневник Розалии Серднак // Запись от 23.03.1940. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/400700 [↑](#footnote-ref-16)
17. Дневник Леонида Ржединского // Запись за февраль 1944 г. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/469995 [↑](#footnote-ref-17)
18. Девятых С. Ю. Дети и подростки Страны Советов в годы Великой Отечественной войны: историко-публицистический очерк. – Государственное учреждение образования Республиканский институт высшей школы, 2015. С 62 [↑](#footnote-ref-18)
19. Дневник Клары Гайнутдиновой // Запись от 17.12.1952. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/451315 [↑](#footnote-ref-19)
20. Дневник Клары Гайнутдиновой // Запись от 23.04.1952. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/490330 [↑](#footnote-ref-20)
21. Дневник Сергея Орлова // Записи от 18.02.1942 и 8.03.1942. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/220714 [↑](#footnote-ref-21)
22. Дневник Марины Добрыниной // Запись от 6.03.1943. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/564301 [↑](#footnote-ref-22)
23. Дневник Елены Шварц // Запись от 12.02.1957. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/104978 [↑](#footnote-ref-23)
24. Дневник Олега Амитрова // Запись от 5.03.1953. Прожито. URL: https://prozhito.org/note/499931 [↑](#footnote-ref-24)
25. Дневник Натальи Чуренковой // Запись от 5.03.1953. Прожито URL: https://prozhito.org/note/333240 [↑](#footnote-ref-25)
26. Дневник Клары Гайнутдиновой // Запись от 8.03.1953. Прожито. URl: https://prozhito.org/note/490325 [↑](#footnote-ref-26)